

Галлай Марк.

Отрывок из повести "Первый бой мы выиграли"

С каждой секундой «Дорнье» все ближе.

Я лечу ему точно в хвост. Настолько точно, что временами ощущаю характерное потряхивание — попадаю в его спутную струю.

Чем же он все-таки отличается от того «Дорнье», который был у нас? Вроде точно такой же и в то же время чем-то другой! Да нет, ерунда. Просто обстановка такая, что самое знакомое кажется необычным: ночь, горящая Москва, первый бой, до начала которого теперь уже остаются буквально секунды... И вдруг меня будто осенило: кресты! Кресты на плоскостях — вот что было непривычно! При каждом взгляде на фашистский самолет чуть снизу они четко выделялись на ярко освещенных прожекторами желтоватых крыльях. Вот что, оказывается, придавало немцу иной вид, чем «нашему» самолету того же типа.

И тут же, повинувшись инстинктивному побуждению, я дал длинную очередь... по крылу с черным крестом.

Это, конечно, было тоже неправильно, причем неправильно со многих точек зрения. Во-первых, до «Дорнье» оставалось еще метров четыреста и открывать огонь с такой дистанции не следовало: так я

только демаскировал себя, не имея почти никаких шансов поразить цель (особенно если вспомнить блистательный уровень моей воздушно-стрелковой подготовки). Во-вторых, шпаря такими длинными очередями, я рисковал довольно скоро — как раз к тому моменту, когда они будут особенно нужны, — остаться без патронов. И наконец, в-третьих, не было ни малейшего смысла целиться в кресты, какие бы чувства их вид во мне ни вызывал. Даже если бы я в них попал, существенного вреда противнику это бы не причинило... К сожалению, все эти очевидные и убедительные доводы рассудка пришли мне в голову лишь после того, как я снял палец с гашетки, выпустив в безбрежное воздушное пространство изрядную порцию пуль.

Нет, надо ближе! Еще ближе!

Новая очередь — теперь уже с меньшей дистанции и не по крыльям, а по кабине, по моторам. И, кажется, удачная. Вроде попал. Что же будет дальше?

А дальше последовало то, что, будь я поопытнее, можно было бы без труда предугадать: с обоих пулеметных постов бомбардировщика — и верхнего и нижнего — навстречу моему «мигу» протянулись трассы встречных очередей. Стрелки ожидали атаки истребителя — я, в сущности, сам предупредил их об этом той первой очередью издалека. Кроме того, я подошел к ним точно на их же высоте — без превышения или принижения — и этим дал возможность вести ответный огонь по себе обоим стрелковым точкам. Наконец, дав очередь, я продолжал идти за бомбардировщиком по прямой, никак не маневрируя, то есть оставался относительно него в одном и том же неизменном положении.

Словом, события развивались вполне логично. Встречного огня надо было ожидать.

Но, боже мой, до чего же отвратительное ощущение — когда в тебя стреляют! Трудно передать, как это мне не понравилось!

После войны мне не раз приходилось читать, что к опасностям всяческого рода, в том числе и к стрельбе по собственной персоне, привыкают. Не знаю. Сильно сомневаюсь. Подозреваю, что авторы подобных утверждений просто забыли свои собственные ощущения в такой ситуации (если, конечно, в них вообще кто-нибудь когда-нибудь стрелял). Я, во вся-

ком случае, не привык. И если во многом другом мои первые впечатления впоследствии не раз менялись, то это оказалось на редкость стабильным.

Другое дело, что у обстрелянного человека постепенно вырабатывается умение действовать разумно и целесообразно, несмотря на ощущение опасности, но речь сейчас не о том.

Правда, в дальнейшем мне пришлось испытать ощущения еще более отвратительные, чем обстрел в воздухе, — штурмовой налет противника на земле, когда нет возможности ни взлететь, ни спрятаться куда-нибудь, кроме халтурно вырытой щели на краю летного поля (умение окапываться, столь полноценно освоенное пехотой, увы, никогда не принадлежало к числу воинских талантов нашего рода войск). Все это я в полной мере хлебнул позднее, на фронте. В первый раз даже выковырнул из земли в метре от себя и взял на память горячий, остро пахнущий осколок. Но хранил его недолго: вскоре же выбросил, ибо событие оказалось, увы, далеко не уникальным, а таскать с собой или тем более демонстрировать окружающим осколок, «который меня чуть-чуть не убил», стало, по понятиям фронтового этикета, просто неприличным. Такова, видимо, судьба всех и всяческих сувениров: мода на них недолговечна.

...Итак, стрелки с «Дорнье» открыли по моему «мигу» встречный огонь. Почему они меня не сбили — ума не приложу. Наверное, на меткости их огня сказалось сильное нервное напряжение (вспомним, что они не ждали серьезного отпора), ослепление светом нескольких прожекторов, в то время как я-то все-таки находился в темноте, и, наконец, тот установленный экспериментально общеизвестный факт, что господь бог особенно оберегает пьяных и сумасшедших. Пьяным я в ту ночь, правда, не был, но вел себя, без сомнения, во многом как настоящий сумасшедший...

Следующий заход я сделал немного снизу — верхняя точка противника уже не могла вести огонь по мне, — дал короткую очередь по кабине с переносом на правый мотор и тут же отскользнул в сторону... Порядок: встречная очередь (только одна!) прострочила темноту там, где я был секундой раньше, но откуда уже успел вовремя убраться. На войне опыт

приходит быстро! Впрочем, иначе и невозможно: попробуй, он не придет!..

Через несколько заходов ответный огонь с «Дорнье» прекратился. Мои трассы упирались прямо в фюзеляж и моторы врага... Или мне это только кажется? Потому что если это так, то чего же он не падает?.. Хотелось крикнуть ему: «Падай же, сукин сын, наконец!..»

Долго, бесконечно долго бил я по фашистскому самолету. Так, по крайней мере, мне казалось, хотя часы, на которые я взглянул после выхода из боя, этого впечатления не подтвердили.

Очередь... Еще очередь... И вдруг — «Дорнье» как-то страшно, рывком завалился в правый крен, на мгновение завис в таком положении, потом опять резко увеличил крен, занес хвост и — вывалился из прожекторов.

Где он? Глаза, привыкшие к ярко освещенной цели, ничего в воздухе вне прожекторных лучей не различают. Кругом все черно. Куда он девался?

О том, что «Дорнье», может быть, просто сбит, я в первый момент даже не подумал, хотя последние десятки секунд всем своим существом только этого и ждал. Не подумал, скорее всего, потому, что никогда не видел, как сбивают самолеты, и подсознательно прочно впитал в себя неоднократно читанное в произведениях художественной и не очень художественной литературы что-нибудь вроде: «Ярко вспыхнув, смердя дымным факелом, стервятник в последнем штыпоре с протяжным воем устремился к земле».

А тут назначенный стервятник не вспыхнул, не засмердил дымным факелом, а главное — неизвестно куда устремился. Хорошо, если к земле, а вдруг ни к какой не земле, а просто он таким хитрым маневром вышел из боя, сейчас летит себе домой и посмеивается над мазилой истребителем, который по нему бил, бил, да так и не сбил.

На земле, докладывая о выполненном боевом вылете, я закончил донесение тем, что противник накренился, занес хвост и вывалился из прожекторов.

По этому поводу один из моих коллег заметил:

— Чего тут копать: вывалился — не вывалился. Доложил бы просто — сбил, мол, и все тут.

— А вдруг не сбил?

— Да нет, по всему похоже, что сбил. А потом, знаешь, сейчас это нужно. Каждая сбитая машина нужна. Для подъема духа.

Мой товарищ явно путал моральный эффект от сбитого самолета врага и от бумаги, где об этом было бы написано.

Во времена, о которых идет речь, еще не была разработана классификация правды по различным видам: «мобилизующая» и «демобилизующая», «окопная» и, видимо, «стратегическая», «малая» и «большая» и тому подобное. Но определенное стремление к разработке, а главное, внедрению в жизнь подобной классификации, как мы видим, уже намечалось.

— Нет, — сказал я. — Давай лучше подождем подтверждения земли. Вернее дело будет.